



Альфонс Доде

Нума Руместан



Перевод с французского
Надежды Рыковой

ФТМ



Альфонс Доде

Нума Руместан

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7712326
Нума Руместан: Агентство ФТМ, Лтд.; Москва; 2019
ISBN 978-5-4467-2063-7

Аннотация

В романе «Нума Руместан», который изначально носил название «Север и Юг», Доде показывает французский Юг: помпезный, классический, театральный, обожающий зрелища, костюмы, подмостки, пышные султаны, фанфары... На Юге люди вкрадчивы и льстивы, они самозабвенно и ослепляюще красноречивы, и при этом абсолютно бесцветны. Цвет и краски – удел Севера, с его короткими, но страшными вспышками гнева и неестественными ужимками и... неиссякаемым воображением. Так и своих героев Доде «сталкивает», противопоставляя друг другу столь непохожих «южан» отца и дочь Ле Кенуа и «северян» Руместана и Бомпаре.

Содержание

I. На арену!	5
II. Изнанка великого человека	26
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Альфонс Доде Нума Руместан

© Перевод. Н. Рыкова, наследники, 2019

© Агентство ФТМ, Лтд., 2019

* * *

I. На арену!

В это воскресенье, добела раскаленное июльское воскресенье, в городе Апсе, в Провансе состоялось по случаю сельскохозяйственной выставки и спортивных состязаний большое дневное празднество в городском амфитеатре. Тут был весь город: ткачи с Новой Дороги, аристократия из квартала Калад и даже пришлые из Бокера.

«По меньшей мере пятьдесят тысяч человек!» – писала на следующий день хроника «Форума». Впрочем, здесь не обошлось без свойственного южанам преувеличения.

В сообщении все же была правда, ибо по всем ярусам старинного амфитеатра, на всех его разогретых солнцем каменных ступенях теснилась, как в блаженные времена Антонинов¹, огромная толпа народа, и надо сказать, что вся эта масса людей стеклась сюда отнюдь не ради местного празднества. Для того, чтобы два часа простоять на пылающих плитах, под ослепляющим, убийственным солнцем, дышать жаром и пахнувшей порохом пылью, сознавать, что вам грозит воспаление глаз, солнечный удар, злокачественная лихорадка, подвергаться всем опасностям, всем мукам того, что именуется на Юге дневным празднеством, – для всего этого от-

¹ *Антонины* – династия римских императоров, правивших с конца I до начала III века н. э. Этот период ознаменовался хозяйственным расцветом римских провинций и военными победами на границах.

нюдь не достаточно было бега на ходулях, борьбы мужчин и подростков, игр в «души кота» и «прыг на бурдюк», соревнований флейтистов и тамбуринщиков – словом, всех местных зрелищ, *обветшавших еще* больше, чем стертый рыжеватый камень амфитеатра.

Больше всего привлекало зрителей присутствие Нумы Руместана.

Да, изречение «Нет пророка...» вполне справедливо, если говорить о людях искусства, поэтах, ибо земляки всегда последними признают их превосходство, которое утверждается в сфере, так сказать, идеальной и не производящей броского впечатления. Но изречение это никак нельзя отнести к государственным людям, знаменитым политикам или промышленникам, ибо их громкая слава приносит доход, превращаясь в звонкую монету всевозможных милостей, оказываемых этими влиятельными людьми, и отражается во всяких благах для их родного города и его жителей.

Вот уже десять лет Нума, великий Нума, депутат и лидер всех правых группировок, является пророком в земле Прованса, вот уже десять лет город Апс расточает своему знаменитому сыну нежность матери, матери – южанки, выражающуюся во всяческих шумных проявлениях, кликах и бурных объятиях. Не успеет он появиться летом, после того как Палату распускают на каникулы, не успеет он показаться на вокзале, как сразу начинаются овации. Тут как тут хоровые кружки, чьи вышитые знамена раздуваются от их героиче-

ских напевов. Носильщики, сидя на ступеньках, поджидают, чтобы старая семейная карета, приехавшая за лидером, проехала каких-нибудь три шага между развесистыми платанами авеню Бершер, – тогда они сами впрягаются в нее и под крики «ура!» между двумя рядами приподнятых для приветствия шляп влекут великого человека до дома Порталей, где он всегда останавливается. Этот энтузиазм стал уже настолько привычным, так прочно вошел в церемониал встречи, что лошади сами останавливаются, словно у почтовой станции, на углу той улицы, где носильщики их обычно выпрягают, и если бы их вздумали стегать и погонять, они все равно не сделали бы больше ни шагу. С первого же дня Апс меняет обличье: это уже не унылый городишко, где обывателя, убаюканные пронзительным звоном цикад на выжженных деревьях бульвара, предаются бесконечному послеобеденному отдыху. Даже в самые жаркие часы дня улицы и главная площадь кишат снующими взад и вперед людьми в парадных цилиндрах и черных суконных сюртуках – они резко выделяются при ярком солнечном свете, и на белых стенах судорожно пляшут их смятенные тени. Под колесами карет епископа и председателя городского суда дрожит мостовая. А затем, вытянувшись во всю ширину бульвара, начинают толпами проходить делегации предместья, где Руместана обожают за его роялистские убеждения, – депутаты ткачих, гордо поднимающих головы, увенчанные арльскими бантами. Гостиницы переполнены деревенским людом, фермерами Камарги и

Кро, маленькие площади и улицы бедных кварталов загромождены их распряженными тележками, словно в базарный день. Переполненные кафе открыты допоздна, освещенные в неурочное время стекла Клуба Белых дрожат от раската господнего гласа.

Не пророк в своем отечестве! Да вы бы только взглянули на амфитеатр в это лазурное июльское воскресенье 1875 года, убедились бы в полном равнодушии публики ко всему происходящему на арене, увидели бы все эти лица, повернутые в одну сторону, огонь всех этих взглядов, бьющий в одну точку – в эстраду, где среди разукрашенных орденами фраков, среди шелковой пестроты раскрытых парадных зонтиков восседал Руместан. Вы бы только послушали разговоры, восторженные клики, громкие простодушные рассуждения славного апсского простонародья – то на провансальском наречии, то на исковерканном французском языке, но с неизменным запахом чеснока, с беспощадным акцентом, которым чеканит каждый слог и не пропускает ни одной точки над «и».

– Господи! Красавец-то какой!

– С прошлого года он немного пополнил.

– Зато вид у него более внушительный.

– Нечего толкаться. Всем видно.

– Смотри, малыш: это наш Нума. Вырастешь, по крайней мере сможешь сказать, что видел его, а?

– Узнаю его бурбонский нос... А зубы-то все на месте.

– Ни одного седого волоса.

– Э, черт побери!.. Не так уж он стар... Родился в тридцать втором, как раз в тот год, когда Луи-Филипп повалил кресты миссии, чтоб его!

– Да, Филипп был ворюга.

– Ему и не дашь сорока трех лет.

– Ясное дело – не дашь... Ах ты, солнышко наше!..

И высокая девица с пламенным взором послала ему издали нарочито дерзким жестом воздушный поцелуй – звонкий, словно крик птицы.

– Ты бы, Зетт, полегче. Не ровен час, заметит тебя его дама.

– Вон та, в синем, и есть его дама?

Нет, в синем была его свояченица, мадемуазель Органс, хорошенькая барышня, которая только что вышла из монастырского пансиона, но уже умела ездить верхом не хуже драгуна. Г-жа Руместан казалась куда степеннее, сдержаннее, но вид у нее был гораздо более гордый. Эти парижские дамы много о себе воображают. И вот все стоящие кругом женщины, заслонив ладонью глаза, затараторили на своем живописном, не стесняющемся в выражениях полулатинском наречии, обсуждая обеих парижанок, их дорожные шляпки, обтянутые платья, отсутствие каких бы то ни было драгоценностей, что было полной противоположностью местным нарядам: золотым цепочкам, красным и зеленым юбкам с огромными округлыми турнюрами. Мужчины пере-

числяли услуги, оказанные Нумой правому делу, его письмо к императору, его речь в защиту белого знамени. Ах, если бы в Палате заседала хотя бы дюжина таких молодцов, как он, Генрих V давно уже занимал бы французский престол!

Славный Нума, опьяненный всем этим шумом, возбужденный восторженным приемом, не мог усидеть на месте. Он то откидывался в просторном кресле, полузакрыв глаза и сияя улыбкой, то покачивался, то вскакивал, широким шагом прохаживался вдоль трибуны, на миг склонялся к арене, снова возвращался на место и, источая благодушие, распустив галстук, упирался коленями в пружинное сиденье кресла, подпрыгивал и, повернувшись к толпе спиной и подметками, разговаривал с парижанками, сидевшими за ним и над ним, старался заразить их своей веселостью.

Г-жа Руместан скучала. Это было заметно по отчужденному, безразличному выражению ее лица с правильными чертами, холодноватыми и надменными в те мгновения, когда их не оживляли острый блеск серых глаз, подобных жемчужинам, настоящих глаз парижанки, и улыбка полуоткрытых ярко-алых губ.

Южная жизнерадостность, суматошная и фамильярная, говорливый люд, у которого все на поверхности, снаружи, в противоположность ее серьезности, глубине и затаенности чувств, – все это коробило ее, может быть, даже безотчетно, потому что в этом народе она распознавала в размноженном и упрощенном виде человека, бок о бок с которым прожи-

ла десять лет и в котором благодаря своему горькому опыту уже хорошо разбиралась. Небо тоже не восхищало ее – слишком яркое, оно изливало на землю слишком много зноя. Как могли дышать все эти люди? Как им хватало дыхания на то, чтобы так орать? И она принималась вслух мечтать о миллом парижском небе, сероватом, мутноватом, о прохладном апрельском ливне на лоснящихся тротуарах.

– Розали! Что ты говоришь!..

Сестра и муж возмущались. Особенно сестра, высокая девушка, излучавшая жизнь и здоровье и еще выпрямившаяся, чтобы лучше все видеть. Она впервые попала в Прованс, а между тем казалось, что все эти крики, вся эта суматоха под ярким итальянским солнцем пробуждали в ней скрытую жилку, дремавший инстинкт, южную кровь, о которой говорили длинные сросшиеся брови над глазами гурии и матовость лица, не красневшего от летнего загара.

– Послушай, милая Розали, – говорил Руместан, стараясь во что бы то ни стало убедить жену, – встань и погляди хорошенько... Могла бы ты увидеть в Париже что-нибудь подобное?

В широком эллипсе огромного амфитеатра, отрезавшего от неба кусок его могучей лазури, на поднимавшихся ярусами ступенях теснилось множество людей, остро сверкали взгляды, многоцветно переливалась яркость праздничных женских нарядов и живописных национальных одежд. Оттуда, как из гигантского чана, поднимались восторженные

взвизги, громкие восклицания и звуки фанфар, испарявшиеся, если можно так выразиться, от ослепительного света и зноя.

Особенно отчетливо доносились крики продавцов молочных булочек, которые перетаскивали с яруса на ярус покрытые белыми полотенцами корзины:

– Li pan ou la... li pan ou la!

Резкие голоса разносчиц холодной воды, раскачивавших кувшины с зеленой поливой, невольно возбуждали жажду:

– L'aigo es fresco... Quau vou beure?²

А на самом верху, у гребня амфитеатра, уже в птичьем царстве, рядом с проносившимися назад и вперед стрижами бегали и играли ребяташки, и их звонкие голоса казались переливчатым венцом над смутным гулом нижних ярусов. И какая надо всем этим была изумительная игра света, усиливавшаяся по мере того, как время шло и солнце медленно поворачивалось вдоль широкой окружности амфитеатра, как на диске солнечных часов, оттесняя толпу, сгущая ее в затененной зоне и оголяя места, где было уж чересчур жарко, оголяя порыжевшие плиты, разделенные пучками сухой травы и черными следами давнишних пожаров.

Иногда на верхних ярусах под напором толпы от древнего строения отделялся камень и перекатывался с этажа на этаж, вызывая крики ужаса и давку, словно весь цирк рушился. И тогда на ступенях амфитеатра возникало движение, по-

² Вода холодная... Кто хочет пить? (франц.)

добное бурному прибою, бьющему о береговые утесы, ибо у этого впечатлительного люда действие весьма мало связано со своей причиной: оно всегда преувеличено воображением, какими-то несоразмерными представлениями.

Так развалины амфитеатра, загроможденные шумной толпой, словно оживали, утрачивая облик древнего памятника, по которому гиду полагается водить туристов. Их вид порождал то же чувство, какое может вызвать строфа Пиндара, прочитанная афинянином наших дней, то есть впечатление мертвого языка, который вдруг ожил, сбросив с себя холодное схоластическое обличье.

Безоблачное небо, распыленное серебро солнечного света, латинские интонации, сохранившиеся в провансальском наречии, человеческие фигуры на площадках под сводом, застывшие позы, которые от вибрации воздуха вдруг обретают античный, почти скульптурный характер, да и сам местный тип, сами лица, словно выбитые на медалях, с недлинным, но горбатым носом, широкие бритые щеки и крутой подбородок Руместана – все это способствовало иллюзии, будто здесь происходит зрелище римских времен, все вплоть до мычания скота, доносившегося из подземелий, откуда в древности выпускались львы и боевые слоны. И потому, когда на пустой, желтой от песка арене открывалась решетка подиума, можно было ожидать, что из огромной зияющей дыры появится не мирная сельская процессия – животные и люди, премированные на конкурсе, а выскочат дикие звери.

Сейчас наступила очередь мулов в парадном уборе. Их вели под уздцы, и они, накрытые роскошными провансальскими спартри³, выступали, запрокинув маленькие четкие головы, разубранные серебряными бубенцами, помпонами, бантами и кисточками, не пугаясь хлопанья бичей на арене, резкого, звонкого, словно взрывы ракет фейерверка. На мулах ехали, стоя, их владельцы, и жители каждой деревни, находившиеся в толпе зрителей, узнавали своих лауреатов и громко называли имена:

– Вот Кавайон... Вот Моссан...

Блистательное шествие длинной змеей огибало арену, наполняя ее бряцающим блеском, сияющим звоном, задерживалось у ложи Руместана, приветствовало его согласованным на миг звяканьем металла, хлопаньем бичей, а затем продолжало круговой обход под главенством видного из себя всадника в светлом, плотно облегавшем его тело кителе и высоких сапогах, одного из членов местного Клуба; организатор праздника, он, сам того не ведая, все портил: он вносил в Прованс провинциальный дух и придавал любопытному народному зрелищу неярко выраженное сходство с кавалькадой из цирка Франкони. Впрочем, никто, кроме некоторых крестьян, на шествие не смотрел. Все глаза устремились на эстраду, которую сейчас заполняла толпа людей, явившихся приветствовать Нуму: то были друзья, клиенты,

³ *Спартри* – изделия из плетеной ткани: ковры, покрывала, попоны и т. п. Их производством славились Марсель и Лион.

бывшие школьные товарищи, гордые своей близостью к великому человеку и возможностью продемонстрировать эту близость отсюда, с подмостков, перед всем честным народом.

Посетители двигались беспрерывным потоком. Тут были и стар и млад, сельские дворяне во всем сером – от гетр до шапчонки, цеховые мастера, надевшие ради праздника сюртуки, на которых еще виднелись неразглаженные складки, домохозяева, фермеры из апсского предместья в пиджаках с закругленными полами, лоцман из Пор-Сен-Луи, теребивший в руках шапку каторжанина. На всех лицах лежала печать Юга, – заросли ли эти лица до самых глаз бородами цвета черного дерева, которые кажутся еще чернее от матовой бледности, свойственной людям Востока, выбриты ли они начисто, как полагалось в старой Франции. У всех были короткие шеи, все лоснились, словно кувшины из обожженной глины, у всех сверкали черные глаза навывкате, все фамильярно жестикулировали и говорили друг другу «ты».

И как встречал их Руместан! Он не придавал значения состоянию или происхождению, его неиссякаемая сердечность распространялась на всех.

– Э! Мосье д'Эспальон! Как живешь, маркиз?..

– Эге-ге! Старина Кабанту! Ну как твоя лоцманская служба?

– Сердечный привет господину председателю Бедарриду!

И начинались рукопожатия, объятия, похлопывания по

плечу, которыми подкрепляются слова, всегда слишком холодные с точки зрения южан, когда они преисполнены к кому-либо симпатии. Но разговор никогда не затягивался. Лидер слушал собеседника одним ухом, взор его блуждал, и во время разговора он махал рукой вновь подошедшим. Но никто не обижался на то, что он торопился распрощаться с собеседником.

– Ладно, ладно!.. Я похлопочу... Напишите прошение... Я возьму его с собой.

Обещал он похлопотать насчет табачного ларька, насчет должности податного инспектора. Если с прямой просьбой к нему не обращались, он старался угадать нужду, подбадривал робких честолюбцев, вызывал их на откровенность. Подумать только: у старины Кабанту двадцать случаев спасения на водах, и ни одной медали!

– Пришлите мне документы... В морском ведомстве меня обожают!.. Мы восстановим справедливость.

Он произносил слова твердо, отдельно, и звучали они горячим металлическим звоном, словно по столу катились только что вычеканенные червонцы. И все отходили, радуясь этим блестящим монеткам, спускались с эстрады сияющие, как школьники, уносящие полученные награды. Самым замечательным в этом чертяке была его изумительная способность перенимать повадку и тон тех людей, с кем он говорил, и притом непосредственно, бессознательно. Разговаривая с председателем суда Бедарридом, он обретал елейный

вид, плавные жесты, умильную улыбочку и при этом торжественно вытягивал руку, словно потрясал своей тогой в зале суда. Когда он беседовал с полковником де Рошмором, у него появлялась выправка военного, и он лихо заламывал шляпу, а перед Кабанту стоял, засунув руки в карманы, согнув ноги дугой, сутулясь, как старый морской волк. Время от времени, в перерыве между двумя дружескими объятиями, он возвращался к своим парижанкам и с блаженным видом отирал покрытый испариной лоб.

– Милый мой Нума! – с веселым смешком говорила ему Ортанс. – Где же ты раздобудешь эти табачные ларьки, которые ты всем обещаешь?

Руместан склонял свою крупную курчавую голову, уже слегка лысеющую на макушке.

– Обещать, сестричка, еще не значит дать, – отвечал он и, угадывая молчаливый упрек жены, добавлял. – Не забудьте, что мы на Юге, среди земляков, говорящих на одном языке... Все эти славные ребята знают, чего стоит обещание, и их расчет на получение табачного ларька не более тверд, чем мое стремление обеспечить их таковым. Но они о нем толкуют, это их развлекает, воображение работает. Зачем лишать их такого удовольствия?.. К тому же, видите ли, когда южане разговаривают друг с другом, слова имеют для них относительный смысл... Тут все дело в степени уточнения...

Эта фраза понравилась ему, и он несколько раз повторил ее, подчеркивая последние слова:

– ...в степени уточнения... в степени уточнения...

– Мне нравятся эти люди... – сказала Ортанс; ее занимало зрелище, открывавшееся ее глазам.

Но Розали не убедили доводы Нумы.

– Слова все же имеют определенный смысл, – прошептала она, словно отвечая своим тайным мыслям.

– Это уж зависит от географической широты, дорогая.

И как бы в подтверждение своего парадокса, как бы в подмогу ему Руместан дернул плечом движением коробейника, укрепляющего на спине ремень. Великий оратор правых сохранял характерные привычные жесты – он не мог от них избавиться, и в другой партии на него из-за этих жестов смотрели бы как на простолюдина. Но на тех аристократических высотах, где он заседал рядом с князем Ан-гальтским и герцогом де ла Ронггайд, это расценивалось как признак силы и яркой оригинальности; Сен-Жерменское предместье было просто без ума от его мощного движенья плечом, от этого рывка широкой крутой спины, словно подпиравшей надежды французской монархии. Но если г-жа Руместан и разделяла некогда иллюзии Сен-Жерменского предместья, то сейчас они у нее безнадежно рассеялись, судя по ее разочарованному взгляду, по легкой улыбке, все сильнее кривившей ее губы, пока говорил лидер, – бледной улыбке, не столько презрительной, сколько печальной. Впрочем, муж скоро отошел от нее, привлеченный звуками странной музыки, доно-

сившейся с арены вместе с криками толпы, которая, стоя, восторженно вопила:

– Вальмажур! Вальмажур!

Победитель состоявшегося накануне конкурса, первый тамбуринщик Прованса, знаменитый Вальмажур приветствовал Нуму исполнением лучших своих песенок. Красивое зрелище являл собой этот Вальмажур; он стоял посреди арены в накинутаой на плечи желтой куртке, с ярко-красным поясом вокруг талии, резко выделявшимся на крахмальной белизне рубахи. Длинный легкий тамбурин свисал у него с левой руки на тонком ремешке, пальцы той же руки подносили к губам дудочку, а правой рукой он бил в тамбурин, замахиваясь выставив одну ногу вперед. Его дудочка завладела всем пространством, словно целый хор цикад: она казалась нарочно приспособленной для прозрачной хрустальной атмосферы, где все вибрирует, а густой, низкий голос тамбурина создавал фон для ее фиоритур.

Звуки этой резковатой, дикой музыки вызывали перед Руместаном сильнее, чем все, показанное ему сегодня, образы его детства – детства мальчишки-провансальца, который бежит на все деревенские праздники, пляшет под развесистыми платанами площадей, в белой пыли больших дорог, топчет лаванду на выжженных солнцем холмах. От сладостного волнения ему стало щипать глаза, ибо, несмотря на свои сорок с лишним лет и на иссушающую душу политическую деятельность, он еще обладал по милости природы силой во-

ображения и той поверхностной чувствительностью, которая может ввести в заблуждение насчет подлинной сущности человеческого характера.

Притом Вальмажур был не обычный тамбуринщик, не один из тех деревенских скрипачей, которые подхватывают на ярмарках и танцульках мотивы кадрилей, припевы кафешантанных песенок и опошляют свой инструмент, стараясь настраивать его на современный вкус. Сын и внук тамбуринщиков, он играл только национальные песни – такие, которые на посиделках напевают дребезжащими голосами старые бабки. И он знал их очень много, он был просто неистощим. После нозлей Саболи⁴, выдержанных в ритме менуэта или ригодона, он начинал играть «Королевский марш»⁵, под звуки которого в век Людовика XIV Тюрей завоевывал и сжигал Пфальц.

Вдоль ступеней амфитеатра, где пчелиным роем проноси-

⁴ Нозль – народная песня, связанная с праздником Рождества; с XVI века нозли писали и поэты. Прованский поэт и композитор Саболи, Никола (1614–1675) пытался воскресить поэзию на прованском языке. О его музыке Доде писал: «Саболи... создал французскую оперу... Сочетая ученость и вдохновение, он разгадал такие глубокие тайны музыкальной гармонии, что спустя примерно девяносто лет после его смерти его мелодии, к которым приспособили латинские слова, пелись во всех парижских церквях; всего лет тридцать назад... вся публика в Итальянской опере приветствовала аплодисментами марш, вдохновленный «Королевским нозлем» Саболи». Всего Саболи создал 81 нозль, написав и слова, и музыку.

⁵ «Королевский марш». – Мелодия этого марша приобрела известность во всем мире после того, как вошла в музыку Жоржа Бизе к «Арлезианке» Доде.

лись легкие трели, возбужденная толпа отбивала такт, махая руками, качая головами, подчиняясь могучему ритму, который порывом мистралья овевал притихший цирк, нарушаемый лишь неистовым свистом ласточек, метавшихся взад и вперед там, высоко, в уже слегка зеленеющей лазури, беспокойных и восхищенных ласточек, которые словно искали в небе невидимую птицу, испускавшую эти острые, пронзительные звуки.

Когда Вальмажур кончил, раздался исступленный восторженный рев. В воздухе замелькали шляпы и носовые платки. Руместан вызвал музыканта на эстраду и бросился ему на шею:

– Молодец! Меня даже слеза прошибла!

И он показал на свои глаза, большие, золотисто – карие, влажные от слез.

Вальмажур, гордый тем, что находится среди шитых золотом мундиров и шпаг с перламутровыми рукоятками, без особого смущения принимал поздравления и объятия. Это был красивый парень, с правильными чертами загорелого лица, высоким лбом, лоснящейся черной бородкой и усами, один из гордых крестьян Ронской долины, у которых нет ничего от смиренной хитрецы деревенских жителей центрального района. Органс сразу же заметила тонкость его руки под перчаткой загара. Она осмотрела тамбурин, палочку с наконечником слоновой кости, подивилась легкости инструмента, уже двести лет принадлежавшего семье Вальмажу-

ров, – его ореховый корпус, покрытый тонкой резьбой, гулкий, отполированный и истонченный, приобрел от времени мягкость. Особенно восхитила ее дудочка, наивная флейта древних тамбуринщиков, флейта с тремя отверстиями, к которой Вальмажур вернулся из уважения к традиции, употребив всю свою ловкость и терпение на то, чтобы научиться должному обращению с ней. Трогателен был его короткий рассказ о том, как он старался и как добился успеха.

– Меня осенило, когда я ночью соловья слушал, – говорил он на странном французском языке. – Думаю себе: как же так, Вальмажур? Птице божьей ее малой глотки на все рулады хватает, у нее-то ведь одна дырочка, а ты не справишься, когда на твоей свирельке целых три?

Говорил он, растягивая слова, мягко и уверенно, несколько не боясь показаться смешным. Впрочем, никто не посмел бы усмехнуться, – таким восторгом был преисполнен Нума, размахивавший руками и топтавшийся на месте так, что едва не продавил трибуну.

– Какой красавец!.. И какой артист!.. А за ним и мер, и генерал, и председатель Бедаррид, и г-н Румавен, богатый бокерский пивовар и вице-консул Перу, затянутый в расшитый серебром маскарадный костюм, и другие, подчиняясь авторитету лидера, убежденно повторяли:

– Какой артист!

Ортанс вполне разделяла это чувство и выражала его со свойственной ей экспансивностью:

– Да, да, великий артист!..

А г-жа Руместан между тем шептала:

– Да вы же с ума сведете бедного парня!

Однако, судя по тому, как спокоен был Вальмажур, ему это отнюдь не угрожало. Он не смутился даже, когда Нума сказал ему:

– Приезжай в Париж, парень, успех тебе обеспечен.

– Сестра ни за что на свете меня не отпустит!

У него не было матери. Он жил с отцом и сестрой на принадлежавшей им ферме в трех милях от Апса, на горе Корду. Руместан побожился, что навестит его до отъезда, поговорит с родичами и добьется их согласия.

– Я вам помогу, Нума, – произнес за его спиной тонкий голосок.

Вальмажур молча поклонился, повернулся на каблуках и с инструментом под мышкой, высоко подняв голову и слегка раскачиваясь, танцующей походкой провансальцев спустился вниз по устилавшему эстраду широкому ковру. Внизу его ждали товарищи, всем хотелось пожать ему руку. Но вот раздался возглас:

– Фарандолу!

Этот мощный крик прокатился под сводами, по коридорам, откуда, казалось, наплывали теперь прохлада и тень, постепенно заполняя арену, и сузил ее освещенную солнцем часть. В тот же миг цирк оказался переполненным до того, что стены его грозили обвалом; его наполняла деревенская

толпа – мешанина белых косынок, пестрых юбок, бархатных бантов, плещущих под кружевными чепцами, расшитых по-зументом блуз, фланелевых курток.

Прокатился гром тамбурина, и толпа выстроилась, разделалась на отряды – рука в руке, нога к ноге. Дудочка испустила трель, вслед за тем весь цирк дрогнул, и фарандола во главе с парнем из Барбантана, прославленным танцором, медленно двинулась вперед, змеясь по арене, вприпрыжку, сперва почти что на одном месте, и огромный зев вомиотория, куда постепенно уходил хоровод, наполнялся шорохом одежд и смутным шумом человеческого дыхания. Вальмажур следовал за фарандолой ровным, степенным шагом, на ходу подталкивая коленом свой тамбурин, и играл все громче по мере того, как плотно свернутое кольцо людей на арене, уже наполовину засыпанной лиловым пеплом сумерек, разматывалось, словно катушка золотых и шелковых ниток.

– Взгляните наверх! – сказал Руместан.

Это «голова» хоровода появилась из-под сводов первого яруса, в то время как тамбуринщик и «хвост» фарандолы еще топтались на арене. По дороге в шествие вливались все, кого увлекло наваждение ритма. Но кто из провансальцев мог бы устоять против волшебной флейты Вальмажура? Мерные удары тамбурина подталкивали, гнали вперед ее звуки, теперь они слышны были уже на всех ярусах, они проходили сквозь решетки, сквозь отдушины, они заглушали восклицания толпы. И фарандола поднималась, поднималась

лась, достигла уже верхних галерей, еще окаймленных рыжеватым солнечным светом. И тогда на фоне арочных проемов самого верхнего яруса, в знойном трепете последних лучей июльского вечера торжественно пляшущий хоровод обрисовался тонкой цепочкой силуэтов, и казалось, что это на античных камнях оживает один из тех барельефов, которые тянутся по обветшалым фронтонам храмов.

Внизу, на пустеющей эстраде – ибо все уже разошлись и хоровод представлялся еще величественнее над обезлюдевшими ступенями цирка, – добрый Нума обратился к жене, набрасывая ей на плечи в защиту от вечерней прохлады легкую кружевную шаль:

– Ну что, красиво?.. Правда, красиво?

– Очень, – ответила парижанка: теперь ее артистическая натура была затронута по-настоящему.

Этим одобрением прославленный гражданин Апса, видимо, больше гордился, чем шумными приветствиями, которыми его оглушали битых два часа.

II. Изнанка великого человека

Нуме Руместану было двадцать два года, когда он приехал в Париж заканчивать юридическое образование, начатое в Эксе. В то время это был славный малый, веселый, шумный, румяный, с красивыми золотящимися глазами навыкате и черной курчавой гривой волос, которая, словно меховая шапка, накрывала всю верхнюю часть его лба. Под этой мощной копной не было решительно никаких идей, никаких честолюбивых помыслов. Настоящий эксский студент, сильный игрок в бильярд и в мисти, не имеющий себе равного, когда речь шла о том, чтобы осушить бутылку шампанского на дружеской пирушке или до трех часов утра гоняться за кошками при свете факелов по широким улицам старого города, где селилась аристократия, а в старину заседал парламент. Но при этом он ничем решительно не интересовался, никогда не открывал книги, не разворачивал газеты, – он увяз в провинциальной ограниченности, которая на все пожимает плечами и гордо именуется свое невежество здравым смыслом.

Латинский квартал встряхнул его, – собственно, неизвестно почему. Как все его товарищи, Нума по приезде в Париж стал завсегдатаем кафе Мальмюса, этого высокого и шумного барака, который громоздит три этажа широких, как в магазине новинок, окон на углу улицы Фур-Сен-Жермен, оглу-

шая ее стуком бильярдных шаров и криками клиентов, прожорливых, словно каннибалы.

Там, переливаясь всеми цветами радуги, пышно расцвевал Юг Франции. Южане гасконские, прованские, южане из Бордо, Тулузы, Марселя, южане из Перигора, Оверни, Арьежа, Ардеша, пиренейских департаментов, с фамилиями на ас, юс, ак, сверкающими, рокошущими, варварскими – Этчеверри, Терминариас, Бентабулеш, Лабульбен – фамилиями, которые словно вылетали из жерла старинной пищали или взрывались, как мина, яростно акцентируя гласные. А как громко звучали там голоса, даже если всего-навсего требовалось подать на столик полчашки кофе, какой гремел хохот, словно опрокидывалась груженная камнем телега, какие красовались бороды – широченные, непомерно жесткие, непомерно черные, с синим отливом, бороды, от которых вмиг тупились бритвы, которые доходили до самых глаз, сливались с бровями, вылезали жесткими завитками из широких лошадиных ноздрей и ушей, но не могли скрыть юности и невинности славных, простодушных лиц, прятавшихся за всем этой растительностью!

Студенты-южане аккуратно посещали лекции, но все остальное время проводили у Мальмюса, собираясь компаниями земляков за издавна закрепленными за ними столиками. Мрамор этих столиков, казалось, впитывал вместе с пятнами вина отзвуки местных наречий, и они оставались на нем, как на школьных партах остаются вырезанные перо-

чинным ножиком имена учеников.

Женщин в этой орде бывало немного. На каждом этаже можно было встретить двух-трех несчастных девиц, которых смущенно приводили сюда любовники и которые проводили вечер рядом с ними за кружкой пива, склонившись над подшивкой иллюстрированных газет, молчаливые и отчужденные среди этих молодых южан, воспитанных в презрении к бабью. Э, черт побери, они знали, где брать любовницу на ночь, с оплатой по часам, но брали их всегда ненадолго. Их не привлекали балы Бюлье, дешевые кафешантаны, ужины в ночных харчевнях. Они предпочитали сидеть у Мальмюса, болтать на своем наречии, замкнувшись в тесном мирке кафе, аудиторий и табльдота. Если они и бывали на том берегу Сены, то лишь во Французском театре, на спектакле классического репертуара, ибо у этого племени классицизм в крови. В театр они ходили шумными компаниями, громко кричали на улице, чтобы скрыть свою застенчивость, и возвращались в кафе примолкшие, словно ошалелые от трагической пыли, попавшей им в глаза, возвращались, чтобы сыграть еще одну партию в полутемном зале, за закрытыми ставнями. Время от времени, по случаю выдержанного экзамена, в кафе происходили импровизированные кутежи, и тогда его наполнял запах мясного рагу с чесноком и зловонных горных сыров на посиневшей бумаге. А затем окончивший студент, получив диплом и сняв с полочки свою трубку с инициалами, отбывал на должность, нотариуса или това-

рища прокурора в какую-нибудь дыру за Луарой и там рассказывал провинции про Париж – про Париж, который, как ему казалось, он хорошо знал, но куда, в сущности, даже не заглядывал.

В этой заскоружлой среде Нуме нетрудно было прослыть орлом. Прежде всего он кричал громче всех. Затем ему дала известное превосходство или, во всяком случае, придала оригинальности его любовь к музыке. Раза два в неделю он разорялся на билет в партер Оперы или Итальянского театра и потом без конца напевал речитативы или целые арии довольно приятным горловым голосом, но без всякого умения. Когда, зайдя в кафе к Мальмюсу и театрально шагая между столиками, он заканчивал руладой какую-нибудь итальянскую арию, радостные вопли встречали его на всех трех этажах, ему кричали: «Э! Артист!» – и здесь, как и в любой другой буржуазной среде, от этого слова загорались ласковым любопытством взгляды женщин и складывались в завистливо-ироническую усмешку губы мужчин. Слава любителя искусств впоследствии помогла ему в политической карьере и в делах. Да и сейчас еще, если в Палате назначают какую-нибудь художественную комиссию, рассматривается проект народного оперного театра или реформ в выставочном деле, прежде всего называют имя Руместана. И связано это с вечерами, которые он в молодости проводил в музыкальных театрах. Оттуда он позаимствовал апломб, актерскую повадку, манеру становиться вполоборота, разговаривая с дамочкой

за стойкой, манеру, вызывавшую восторженное восклицание товарищей: «Ну и хват же этот Нума!»

В университете он держал себя столь же непринужденно. Ленивый, не любивший сидеть в одиночестве и работать, он не очень усидчиво готовился к экзаменам, но все же не без блеска выдерживал их благодаря своей смелости и свойственной южанам изворотливости, которая всегда умела нащупать у профессорского тщеславия слабую струнку. А еще Нуме помогала его наружность – открытое, приветливое лицо, и эта счастливая звезда освещала ему путь.

Как только он получил звание адвоката, родители вызвали его домой: слишком больших лишений стоило им его скромное содержание в Париже. Но перспектива застрять в Апсе, мертвом городе, рассыпавшемся прахом на своих античных руинах, перспектива жизни, сведенной к обходу одних и тех же городских улиц да к защите дел по размежеванию земельных владений, отнюдь не привлекала его еще неясного ему самому честолюбия, которое провансалец угадывал в своей любви к парижской жизни, полной движения и духовных запросов.

С большим трудом отвоевал он у родителей еще два года для подготовки к ученой степени, а по прошествии этих двух лет, когда он получил уже категорический приказ возвращаться на родину, ему посчастливилось встретиться на одном из музыкальных вечеров герцогини Сан-Донино, куда ему открывали доступ красивый голос и связи в артисти-

ческом мире, с Санье, великим Санье, адвокатом-легитимистом, братом герцогини и ярким меломаном, и он покорила его своим темпераментом, столь ярким на фоне светской скуки, и своим восторженным отношением к Моцарту. Санье предложил ему у себя место четвертого секретаря. Жалованья он ему не положил почти никакого, но зато Нума стал сотрудником первой адвокатской конторы Парижа со связями в Сен-Жерменском предместье и в Палате. К несчастью, Руместан-отец упорствовал в своей угрозе лишить его содержания, стараясь призраком голода заставить вернуться домой единственного сына, двадцатилетнего адвоката, находящегося в том возрасте, когда пора начать зарабатывать. И вот тут-то вмешался владелец кафе Мальмюс.

Своеобразный тип был этот Мальмюс, астматичный, бледный толстяк, который из простого официанта стал благодаря кредиту и ростовщичеству владельцем одного из крупнейших парижских кафе. Начал он с того, что давал студентам займы под их получку из дому, взимая с них втрое, когда деньги приходили. Он читал по складам, совсем не умел писать и отмечал данные займы гроши зарубками на кусках дерева, как делали в Лионе, его родном городе, приказчики в булочных, но в счетах у него всегда были полный порядок и ясность, а главное – он никогда не помещал своих денег неудачно. Впоследствии, разбогатеv и став во главе предприятия, где он пятнадцать лет носил фартук официанта, Мальмюс усовершенствовал свои операции и вел дело в

кредит. Из-за этого к концу каждого дня все три кассы кафе бывали пусты, но зато в книгах, которые велись совершенно фантастическим образом, выстраивались бесконечные столбцы пивных кружек, чашек кофе, стаканчиков вина, вписанные туда пресловутыми перьями о пяти остриях, которые так любили парижские коммерсанты.

Расчет у этого человека был простой: он оставлял студенту его карманные деньги, все его содержание, кормил и поил в кредит, а привилегированным давал даже комнату у себя в доме. Пока длилось учение, он не требовал ни гроша – таким образом нарастали проценты на весьма значительные суммы. Но при этом он действовал отнюдь не легкомысленно и не безоглядно. Два месяца в году, во время летних каникул, Мальмюс разъезжал по провинции – удостоверился в добром здравии родителей, в финансовом положении семей. Астма душила его, когда он карабкался на севенские высоты или спускался в лангедокские балки. Молчаливый подагрический путник, бросавший по сторонам подозрительные взгляды из-под тяжелых век – характерные взгляды бывшего с ночного» официанта, – он блуждал по всяким глухим углам, задерживался там на день-другой, посещал нотариуса и судебного пристава, заглядывал за стену, окружавшую имение или завод клиента, потом исчезал неведомо куда.

Разузнав в Апсе все, что ему было нужно, он проникся полным доверием к Руместану. Отца бывшего владельца прядильной мастерской разорили мечты о богатстве и

неудачные изобретения, и теперь он скромно жил на жалованье страхового агента. Но сестра его, г-жа Порталь, бездетная вдова богатого местного деятеля, все свое состояние должна была оставить племяннику. Вот почему Мальмюсу хотелось удержать его в Париже: «Поступайте к Санье... Я вам помогу». Секретарь столь видного человека не мог жить в студенческих меблирашках, и Мальмюс обставил для него холостяцкую квартиру на набережной Вольтера, окнами во двор, взял на себя и оплату помещения и расходы на жизнь. Так будущий лидер начал свою карьеру внешне человеком вполне обеспеченным, в сущности же, глубоко стесненным: ему не хватало ни балласта, ни карманных денег. Благосклонность Санье дала ему возможность завести ценнейшие знакомства. Он был принят в аристократическом предместье. Но вот беда: успехи в обществе, приглашения в парижские особняки, а летом – в имения обязывали его к тому, чтобы всегда быть хорошо одетым, всегда быть подтянутым, и, следовательно, увеличивали его расходы. Неоднократно обращался он к тетушке Порталь, и она изредка оказывала ему помощь, но осмотрительно, скуповато, денежные переводы от нее сопровождались длинными комичными нравоучениями и проклятиями в библейском стиле разорительному Парижу. Положение было просто невыносимое.

Через год Нума стал подыскивать себе что-нибудь другое. К тому же и Санье нужны были труженики, работяги, Нума ему не подходил. Южанин был безнадежно ленив и

особое отвращение испытывал именно к кабинетной работе, требующей прилежания и порядка. Внимательность, умение глубоко входить в дело были ему решительно несвойственны. Он отличался слишком живым воображением, в голове у него все время теснились разные идеи, ум его был до того подвижен, что это отражалось даже на его почерке, который все время менялся. Это была натура поверхностная: у него были и голос и жесты тенора.

«Если я не говорю, то, значит, и не думаю», – признавался он с величайшим простодушием. И это была истинная правда. Не мысль у Нумы подталкивала слово – напротив, слово опережало ее, – мысль как бы пробуждалась от его чисто механического звучания.

Нума сам изумлялся и забавлялся тем, как сталкиваются у него затерявшиеся в закоулках памяти понятия и мысли, когда произнесенное слово обнаруживает их, собирает, превращает в целые связки доводов. Когда он говорил, то обретал в себе чувствительность, дотоле ему самому неведомую, возбуждался от звука своего голоса, от интонаций, которые хватили его за сердце, от которых на глаза у него навертывались слезы. То были свойства прирожденного оратора, но он этого не сознавал, ибо у Санье ему не представлялось возможности применить их.

И, однако, годовой стаж у крупного адвоката – легитимиста оказался важнейшим периодом его жизни. Там он приобрел убеждения, партию, вкус к политике, стремление к бо-

гатству и славе. Первой улыбнулась ему слава.

Через несколько месяцев после того как он ушел от патрона, звание секретаря Санье, которое он носил на манер актеров, именующих себя «актерами французской комедии», даже если они выступали там раза два, доставило ему защиту в суде «Хорька» – легитимистской газетки, весьма распространенной в высшем обществе. Он провел защиту с большим успехом, на редкость удачно. Явившись в суд без всякой подготовки, засунув руки в карманы, он говорил два часа подряд с заманчивой горячностью и до того весело, что судьи дослушали его до конца. Его акцент, ужасающая картавость, от которой он по лености своей так и не избавился, придали его иронии особую остроту. Сила, настоящая сила была в ритме этого подлинно южного красноречия, театрального и вместе с тем непринужденного, но прежде всего отличающегося ясностью суждения, той широкой ясностью, которую находишь в творчестве людей Юга, так же как в беспредельной прозрачности их далей.

Газета, конечно, была осуждена, ей пришлось заплатить и штрафом и тюремным заключением ответственного редактора за блестящий успех адвоката. Так при провале пьес, разоряющих автора и антрепренера, кто-нибудь из актеров завоевывает себе прочную репутацию. Старик Санье пришел послушать своего ученика и при всех расцеловал его.

– Не мешайте судьбе делать из вас великого человека, дорогой Нума, – сказал он, сам немного дивясь тому, что вы-

сидел такого сокола.

Однако больше всех изумлялся сам Руместан. Когда, ошеломленный успехом, он спускался по широкой без перил лестнице Дворца Правосудия, ему казалось, что он пробудился от какого-то странного сна, а в ушах у него все еще гудело эхо его же собственных слов.

После такого успеха, после дождя хвалебных писем, после завистливых улыбок коллег адвокат решил, что начало положено, и стал терпеливо ждать клиентов и предложений в своем кабинете окнами во двор, перед камином, в котором горело несколько принесенных дворником полешек. Но дождался он только дополнительных приглашений на обед да подарка от редакции «Хорька» – красивой бронзовой статуэтки из лавки Барбедьена. Перед новой знаменитостью стояли все те же трудности, она по-прежнему была не уверена в будущем. Людям так называемых свободных профессий, когда у них нет возможности приманивать и завывать клиентов, нелегко начинать карьеру и дожидаться, пока в маленькой приемной с приобретенной в рассрочку плохо набитой мягкой мебелью и аллегорической фигурой на каминных часах между двумя развинченными канделябрами рассядет-ся наконец очередь серьезных и платежеспособных посетителей. Руместан был вынужден давать уроки правоведения людям легитимистского и католического круга, но он считал, что эта работа недостойна его репутации, его успехов на собраниях адвокатов и восхвалений, без которых не обходи-

лось упоминание его имени в газетах роялистской партии.

Но особенно сильную грусть и острое ощущение своей нищеты вызывали у него обеды у Мальмюса, куда он ходил в те дни, когда не было приглашений или когда пустота в кармане не позволяла ему пойти в один из модных ресторанов. Та же особа за стойкой торчала между теми же чашками для пунша, та же фаянсовая печурка ворчала подле той же полочки для трубок, как всегда, там стоял крик и гам и чернели бороды южан. Но его поколение схлынуло, а на молодежь он смотрел с предубеждением зрелого, но еще ничего не достигшего человека к двадцатилетним юнцам, которые словно отпихивают его назад. Как мог он жить среди таких дураков?

Впрочем, тогда студенты были, наверно, поумнее. Его раздражало даже их восхищение, даже то, что перед ним, знаменитостью, эти славные собачки так простодушно виляли хвостами. Пока он ел, хозяин кафе, гордившийся своим клиентом, подсаживался к нему на потертый плюшевый диванчик, дрожавший от приступов его астматического кашля, а за соседним столом располагалась высокая худая девица – единственная фигура былых времен, костлявая особа без определенного возраста, известная в этом квартале под кличкой «Старожилки для всех»: видимо, какой-то добряк-студент, который вернулся на родину и там женился, перед отъездом открыл ей счет у Мальмюса. Привыкши в течение стольких лет щипать траву вокруг одного и того же колышка, это

несчастное создание понятия не имело о том, что творится на свете, не знало об успехах Руместана и заговаривало с ним сочувственным тоном, как с неудачником, как с отсталым однокашником.

– Ну как, старина, поживаешь?.. А знаешь. Помпон-то женился!.. Лабульбена перевели – теперь он прокурор в Кане.

Руместан еле отвечал ей; он запихивал в рот огромные куски, чтобы поскорее от нее уйти. И когда он шел по прилегающим улицам, где народ шумел у харчевен и фруктовых киосков, он особенно остро ощущал горечь своей неудавшейся жизни; его давило сознание, что все для него кончено.

Так прошло несколько лет. Его имя стало широко известно, репутация его упрочилась, но это не приносило ему ничего, кроме картинок и статуэток от Барбедьена. Затем его пригласили защищать одного авиньонского торговца – тот заказал на продажу «подстрекательские» шелковые платки, на которых изображен был граф Шамборский в окружении какой-то депутации: тиснение было плохое, разобрать фигуры было довольно трудно, однако все весьма неосторожно подчеркивалось вензелем H. V. на фоне гербового щита. Руместан разыграл целую комедию, негодуя по поводу того, что тут можно было усмотреть политический намек: H. V. – но ведь это же *Hogase Verncet* – Орас Верне⁶, председатель од-

⁶ Инициалы знаменитого французского художника-баталиста Ораса Верне (1789–1863) совпадают по начертанию с вензелем H. V. – Генрих V, граф Шамборский.

ного из отделений Французской академии!

Эта выходка в тарасконском духе имела на Юге большой успех и сделала для его будущего гораздо больше, чем вся парижская шумиха, а главное – завоевала ему деятельную симпатию тетушки Порталь. Симпатия эта выразилась прежде всего в присылке оливкового масла и белых дынь, за которыми последовала куча других продуктов: инжир, сушеный перец, сушеные молоки мартигского голавля, ююба, ягоды боярышника, сладкие рожки – лакомство для мальчишек, которые обожала почтенная дама и которые гнили в буфете у адвоката. А через некоторое время пришло письмо, написанное гусиным пером. Крупный почерк тетки точно передавал резкость ее речей, ее забавные выражения, заодно выдавая путаницу, царившую у нее в голове и проявлявшуюся в полном отсутствии знаков препинания и внезапных скачках от одной мысли к другой.

Нума, однако, догадался, что тетка, по-видимому, не прочь женить его на дочери советника парижского апелляционного суда, г-на Ле Кенуа, супруга которого – урожденная Сустель из Апса – воспитывалась вместе с нею в монастыре Калад... Крупное состояние. Девушка хорошенькая, славная, на вид холодновата, но ничего: замужество ее расшевелит. Если этот брак совершится, что даст тетя Порталь своему Нуме? Сто тысяч франков звонкой монетой в день свадьбы!

За провинциальными оборотами речи скрывалось все же серьезное предложение. Настолько серьезное, что еще через

день Нума получил приглашение на обед к Ле Кенуа.

Он отправился туда не без волнения. Советник – с ним он часто встречался в суде – принадлежал к числу людей, которые ему больше всего импонировали. Высокий, тонкий, с надменным, болезненно бледным лицом, острым, пронзительным взглядом и словно запечатанным ртом, старый судейский, уроженец Валансьена, производил впечатление, будто и его укрепил и окружил казематами Вобан. Руместана смущала холодность северянина. Ле Кенуа занимал прекрасное положение, которым обязан был своим основательным трудам по уголовному праву, своему богатству и строгости своей жизни, и положение это было бы еще значительнее, если бы не независимость его взглядов и не мрачная нелюдимость, в которую он впал после смерти своего двадцатилетнего сына. Все эти обстоятельства проходили перед мысленным взором южанина, пока он поднимался по широкой каменной лестнице с резными перилами в особняке Ле Кенуа, одном из самых старинных на Королевской площади.

Его ввели в большую гостиную. Двери, казавшиеся особенно высокими, так как легкая роспись в простенках над ними сливалась с парадно разрисованным потолком, тканые обои в рыжеватую и розовую полосы, которыми окаймлены были открытые на старинный балкон окна, внушительный вид на площадь с розоватыми кирпичными стенами зданий – все это могло только усилить смущение Нумы. Но прием, оказанный ему г-жой Ле Кенуа, вскоре ободрил его. Эта ма-

ленькая женщина с доброй и грустной улыбкой, тепло укутанная и с трудом передвигавшаяся из-за ревматизма, который одолевал ее с тех пор, как она поселилась в Париже, сохраняла выговор и все повадки своего милого Юга и любила все, что напоминало ей о нем. Она усадила Руместана поближе к себе и, ласково глядя на него в полусвете гостиной, сказала:

– Да ведь вы же вылитая Эвелина!

Имя тетушки Порталь, от которого Нума уже совсем отвык, тронуло его как воспоминание детства. Г-же Ле Кенуа давно уже хотелось познакомиться с племянником подружки, но в их доме царил печаль, траур по сыну отдалил их от света, от жизни. Теперь они решили, что пора кое-кого принимать: не потому, чтобы их скорбь притупилась, а из-за дочерей, особенно из-за старшей, которой скоро исполнится двадцать лет. Повернувшись к балкону, откуда доносился звонкий юный смех, она позвала:

– Розали!.. Ортанс!.. Идите же скорей!.. Пришел господин Руместан.

Через десять лет после этого вечера он вспоминал, как в обрамлении высокого окна, в легком закатном свете перед ним возникла эта прелестная девушка: она приглаживала волосы, растрепанные шалуньей сестрой, и шла к нему с ясным, прямым взглядом, без притворного смущения, без кокетства.

Он сразу ощутил к ней доверие и симпатию.

Впрочем, раза два за обедом среди общего разговора Нуме показалось, что в красивом гладком личике сидевшей рядом с ним девушки сквозит надменность – наверно, та самая «холодноватость», о которой писала тетя Порталь и которой Розали была обязана своему сходству с отцом. Но легкая гримаска полуоткрытых губ и голубой холод взгляда вскоре смягчались, сменяясь доброжелательным вниманием, приятным удивлением, которого от него даже не старались скрыть. Родившись и получив воспитание в Париже, мадемуазель Ле Кенуа всегда испытывала легкое отвращение к Югу: его говор, нравы, природа, все, с чем она знакочилась во время летних поездок, было ей в равной мере антипатично. Тут уже, видимо, говорила кровь, и на этот счет между матерью и дочерью все время происходили дружеские споры.

– Никогда я не выйду за южанина, – смеясь, говорила Розали.

В ее представлении южанин – это был тип человека говорливого, грубоватого и пустого, что-то вроде оперного тенора или посредника по продаже бордоских вин, с правильными, но слишком резкими чертами лица. Руместан, правда, до известной степени подходил под этот образ, созданный проницательным воображением маленькой насмешливой парижанки. Но в этот вечер его горячая музыкальная речь обрела в доброжелательстве окружающих завлекательную силу, придала его лицу вдохновенность и утонченность. После того как близкие соседи по столу вполголоса обменялись за-

мечаниями о том, о сем – это вместе с икрой и маринадом как бы закуска застольной беседы, – завязался общий разговор о последних празднествах в Компьене, об охотах в маскарадных костюмах, в которых гости изображали кавалеров и дам эпохи Людовика XV. Нума знал о либеральных взглядах старика Ле Кенуа и, пустившись в блестящую импровизацию, почти пророчески изобразил этот двор как цирковое представление с наездницами и конюхами, гарцующими под грозовым небом, травящими оленя при блеске зарниц и отдаленных раскатах грома; затем начинается ливень, смолкает переключка охотничьих рогов, и весь этот монархический карнавал завершается беспорядочным топтаньем в окровавленной грязи!..

Может быть, это была и не совсем импровизация, может быть, Руместан уже репетировал ее на адвокатских конференциях, но никогда и нигде его взволнованная речь, звучавшая благородным возмущением, не вызывала такого восторженного отклика, какой он уловил в обращенном к нему прозрачном глубоком взгляде, в то время как кроткое лицо г-жи Ле Кенуа озаряла лукавая улыбка, которой она как бы спрашивала у дочери: «Ну что, как ты находишь этого южанина?»

Розали была покорена. Этот мощный голос, эти благородные мысли находили отклик в ее душе, способной к глубоким чувствам, по-юному великодушной, страстно влюбленной в свободу и справедливость. Как большинство женщин,

для которых в театре личность певца сливается с его арией, личность актера с его ролью, она забыла, что в речах Нумы многое надо отнести за счет виртуозности исполнителя. Если бы она знала, какая пустота была за всем этим адвокатским красноречием, как мало волновали его, по существу, эти компьенские празднества, если бы она догадывалась, что достаточно было одного приглашения, в котором звучали бы нотки императорской милости, чтобы Нума охотно принял участие в подобной кавалькаде, где было чем потешить его тщеславие, его инстинкты гуляки и комедианта! Но она была зачарована. Ей казалось, что обеденный стол словно вырос, что преобразились усталые, сонливые лица гостей: председателя окружного суда, врача, практикующего в их квартале. А когда все перешли в гостиную, люстра, зажженная впервые после смерти брата, жарко ослепила ее, словно настоящее солнце. Солнцем же был Руместан. Это он оживил их торжественное жилье, смел траур, мрак, сгущавшийся во всех углах, пылинки грусти, витающие в старых домах, зажег грани на больших зеркалах и вернул блеск прелестной росписи простенков, поблекшей за сто лет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.